

ИЗ ИСТОРИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РОССИИ
(1917—1925 гг.)

По материалам письма к академику Н. П. Кондакову

Личный фонд великого русского ученого Никодима Павловича Кондакова (1844—1925), хранящийся в Литературном архиве «Памятник народной письменности» в Праге (далее — ЛАПНИ), ранее был малодоступен исследователям. В 1994 г. систематизация и описание фонда были в основном завершены.¹ Только теперь стало возможно составить ясное представление о последних восьми годах жизни ученого. Внешняя «каша» ее такова: в марте 1917 г. Кондаков покинул Петроград, жил сначала в Одессе, потом в Москве (1 сентября—11 октября) и Ялте; с сентября 1918 г. по 8 февраля 1920 г. — опять в Одессе. Затем последовал отъезд в Стамбул, с 25 февраля 1920 г. учебный жил и работал в Софии, которую покинул в апреле 1922 г. и перебрался в Прагу, там его жизненный путь завершился 17 февраля 1925 г.

Среди корреспонденции Кондакова особый интерес представляет группа писем к нему известных деятелей науки и культуры: реставратора средневековой живописи Г. О. Чирикова (1 — 1918); археолога и историка М. И. Ростовцева (1 — 1919); археологом Б. В. Фармаковского (1 — 1923), А. А. Смирнова (1 — 1923); филологов и историков А. А. Шахматова (2 — 1919), А. И. Соболевского (1 письмо 1919, 3 открытки 1923), Н. Я. Марра (2 — 1922), С. А. Жебелева (14 — 1923—1925); историков искусства В. Т. Георгиевского (3 — 1923), А. И. Анисимова (2 — 1923), Д. В. Айялова и Л. А. Мануцелича (1 — 1924), Д. В. Айялова (1 — 1925); историка В. П. Бузескула (1 — 1925). Приспешаются также 3 письма Д. В. Айялова, С. А. Жебелева и С. Ф. Ольденбурга 1925 г. к С. Н. Кондакову, сыну ученого.²

¹ Основная работа проделана Л. Л. Кошкиной и автором настоящей статьи при постоянной помощи сотрудников архива М. Давидовой и М. Заградниковой, которым приношу искреннюю благодарность. Фонду был присвоен № 46542, составление описи не завершено.

² Родился в 1878 г., усыновлен в 1886 г. В 1917—1921 гг. жил в Петрограде, с лета 1921 г. — вместе с отцом. Работал как журналист, художественный критик, переводчик научной литературы. В 1927 или 1928 г. переехал из Праги в Париж, где след его потерялся. Увез с собой часть архива отца.

Число писем несравнимо, заключаемая в них информация зачастую имеет беглый характер, и все же они представляют ценный источник по истории целого ряда гуманитарных дисциплин. Весомость данной переписки определяется, главным образом, именами ее участников, а также тем, что ряд посланий носил «программный» характер — это были обзоры жизни за несколько лет вынужденной разлуки с Н. П. Кондаковым, человеком, рядом с которым было прожито не одно десятилетие и к которому большинство корреспондентов, в большей или меньшей степени, относилось как к учителю и абсолютно все — как к старшему коллеге, «патриарху». Определенная «программность» была и в письмах с поздравлениями к 80-летию ученого, и в письмах, связанных с его кончиной (адресованы сыну). Особую ценность таким источникам, как письма М. И. Ростовцева и Н. Я. Марра, придает то, что они были посланы из заграницы, т. е. писались без учета цензуры. Значительную долю в выделенном нами эпистолярном наследии составляют послания С. А. Жебелева, кратко, но регулярно в течение двух лет останавливавшегося на новостях жизни таких учреждений, как Петроградский-Ленинградский университет, Академия наук, Институт материальной культуры, Эрмитаж, Русский музей, Академия художеств. Письма содержат ряд обобщающих оценок и характеристик научной жизни тех лет, т. е. пером водила рука историографа.

Тексты писем приведены к нормам современной орфографии и пунктуации, сокращенные слова, имеющие однозначное толкование, дополняются без квадратных скобок.

Основной темой настоящей работы состоит в том, что военно-политические катастрофы 1910-х — начала 1920-х гг. прервали естественное развитие русской науки.

Н. П. Кондаков несколько десятилетий объединял вокруг себя многих своих учеников и последователей, коллег. Все они понимали, что лягушка в научном мире, образовавшаяся из-за отъезда ученого, невосполнима. Разрыв этих связей, как и издание последних работ исследователя за рубежом, не мог не обеднить научную мысль в России. Научная деятельность Кондакова в последние восемь лет его жизни, когда он оказался отрезанным сначала от Петрограда и Москвы, а затем от родины, несомненно, имела определенное, главным образом, вдохновляющее значение для его коллег, оставшихся в обеих столицах и не покинувших родину. Продолжение научной работы в течение 5—6 лет после 1917 г. для многих из них было почти невозможно или крайне затруднено. Так, в письме от 9 октября 1918 г. Чириков, участвовавший в расчистке древнейших памятников средневековой живописи, писал: «<...> может, дадите какую-либо из интересных мыслей по открытию древностей, а я постараюсь провести в жизнь».¹ Шахматов 23 июня 1919 г. обращаясь

¹ См. полные тексты писем: *Кылатова И. Л.* 1) Из переписки Н. П. Кондакова с Г. О. Чириковым, В. Т. Георгиевским и А. П. Анисимовым (1918—1923 гг.): К вопросу о внутреннем единстве русской художественной историографии // Памяти Николая Павловича Кондакова (1844—1925): Сборник научных трудов, посвященный 150-летию со дня рождения ученого, СПб., 1996 (в печати). 2) Н. П. Кондаков и В. Т. Георгиевский: Опыт научного общения и последние письма // Мир Николая Павловича Кондакова. М., 1996 (в печати).

к Кондакову от лица членов Академии наук: «Мы горячо приветствуем Вас по поводу завершения Вами Вашей работы по иконографии, Отделение [русского языка и словесности] берет ее на свое попечение и приложит все усилия к ее изданию».⁴ 22 декабря 1919 г. Ростовцев писал из Оксфорда: «Очень обрадовало меня Ваше письмо. Так рад был узнать, что Вы здоровы и работаете, как прежде, может быть, больше, чем прежде».⁵

Прочитываем послание Марра от 31 декабря 1922 г. из Парижа: «Все, что Вы пишете про свои работы, крайне интересно, а для меня особенно суждения о терминном споре, Ваша мысль о выделении этого, как Вы скромно называете, „эпизода“ и создание из него тома в серии русских кладов на русском языке, думаю, всеми будет приветствоваться, и надо труд готовить. Вам, и подготовлять сочувствующим условия для напечатания. Об этой тематической стороне еще потом. Но меня интересует по существу тема и Ваша трактовка».⁶ В другом (недатированном) письме, написанном вскоре также из Парижа, читаем: «<...> одного не могу не констатировать, это не убыль, а роста глубокого уважения к Вам и страстного желания видеть Вас в своей научной среде. Когда иного средства не оказалось хотя бы духовно связать Вас с собой, с своим учреждением, в Академии истории материальной культуры Вы были избраны единогласно почетным членом, при том и по времени первым почетным членом, так как раньше этот институт был вообще упразднен».

Фармаковский 23 апреля 1923 г. писал Кондакову: «Я очень сочувствую Вам и понимаю, что работать за границей Вам очень трудно, но я восхищаюсь Вашей силой духа и неутомимостью в научных изысканиях. Эти качества Вы в полной мере сохраняете, как это ясно видно из Вашего письма, и это доставляет всем нам истинную радость. То, что Вы пишете о зарубежных специалистах и их узости, мне хорошо знакомо <...>. У нас, конечно, другой склад и нас общество не наших ученых не удовлетворит». И далее: «То, что Вы пишете о Ваших трудах по средним векам, нас волнует величайшим образом. Я уверен, что мы в конце концов могли бы раздобыть средства напечатать Ваш труд!»⁷ Тогда же и непререкаемый секретарь Российской Академии наук С. Ф. Ольденбург высказывал готовность «безотлагательно» напечатать работы Кондакова. Это становится известно из письма Жебелева к учителю от 6 апреля того же года. Ученик комментировал ситуацию так: «<...> не очень-то верьте. Впрочем, возможно...».⁸

⁴ Речь, вероятно, идет о кн.: The Russian Icon. Oxford, 1927; 2-е (поис.) изд.: Русская икона. Т. I—IV. Прага, 1929—1933. См.: *Кыялогора II. Л.* История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф. И. Буслаев, П. П. Кондаков, Методы, идеи, теории). М., 1985. С. 150, примеч. 314. Кондаков с 1898 г. состоял ординарным академиком по Отделению русского языка и словесности Имв. Академии наук. Председателем этого Отделения с 1906 г. был А. А. Шахматов.

⁵ М. И. Ростовцев уехал из Петрограда 30 июня 1918 г. в Швейцарию в заграничную научную командировку, потом переехал в Англию. См.: *Бонгард-Левин Г. М.* Восток. М., Зубов В. Ю. Михаил Иванович Ростовцев и Вячеслав Иванович Иванов (Новые материалы) // ВДШ. М., 1993. № 4. С. 218.

⁶ Речь идет о труде «Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры» (Прага, 1929). См. также: *Кыялогора II. Л.* История изучения византийского и древнерусского искусства в России. С. 148, 149, примеч. 306.

⁷ Имеется в виду тот же труд Кондакова. См. примеч. 6.

⁸ Ср. записку от 28 марта в дневнике Кондакова за 1923 г.: «Пробовал писать ответ Российской Академии наук на ее запрос» (ИАИИИ).

В письме Георгиевского от 8 апреля 1923 г. читаем: «с радостью узнал, что Вы здоровы, что по-прежнему Вы имеете силы, чтобы неустанно работать и создавать около себя ту светлую атмосферу высокой чистой науки, которая так всегда обаятельно действовала на всех нас, счастливых, пользовавшихся Вашим вниманием и Вашими исключительными по своей глубине и радиосторонности знаниями и дарованиями. Особенно восхитило меня Ваше сообщение, что Вы, несмотря на свои 78 лет, читаете лекции при обширной аудитории! Это констату подвиг, которому должны завидовать даже Дюканжи, прославленные на весь свет за свое долготелее служение науке. Увы! Ваши ученики уже не обладают такою энергией и крепостью сил...».

Ансимов 11 июля того же года писал: «С большой радостью узнал я от Василия Тимофеевича [Георгиевского], что Вы живы и работаете не покладая рук, и таким образом служите нам всем примером. Нельзя не восхищаться Вашей изумительной трудоспособностью, Вашей энергией и Вашей бесконечной преданностью науке и русской культуре. Я говорю русской (здесь и далее подчеркнуто А. И. Ансимова. — *Н. К.*) потому, что хотя Вы сейчас в Праге, но семена войдут и прицветят плод в России. Хотя и на расстоянии, хотя и раздельные, сердца наши бьются в унисон, и русские культурные деятели, где бы они ни находились, стремятся все к одной и той же цели: культурному преуспеянию родины и ее национальному величию. — Конечно, Вашу работу в Русском университете в Праге нельзя признать происходящей в нормальных условиях, но ведь и мы здесь обставлены не более нормально».

Жебелев также возобновил переписку с Кондаковым лишь в 1923 г. В первом письме, от 11 января, читаем: «Многого пришлось лишиться за это время, но, поверьте, самое ощутительное для меня было — отсутствие общения с Вами, к которому я так привык и в котором так пужаюсь». 23 декабря он писал: «Восхищаюсь и преклоняюсь пред Вами, очевидно, не живущей усталой деятельностью. Очень скорбно о том, что Ваши научные размышления остаются для меня за семью печатями и пока только дразнят мое любопытство. Сдается мне, что Вы в конце концов уже перевернули или перевернете все сложившееся у нас представления о средневековом и Востоке, и Западе. И все это проходит мимо нас. Ужасно! На печатание Вашего трактата здесь, у нас, особых радужных надежд не возлагаю».⁹ В письме от 21 сентября 1924 г. вновь находим признание: «Преклоняюсь пред Вашей энергией, не живущей предела и не смущающейся ничем. Таких людей, как Вы, в нашем ученом мире теперь почти не осталось — разве М. И. Ростовцев, но ему далеко до 80 лет и он оставлен, конечно, в гораздо более благоприятные условия, чем Вы.¹⁰ Энергичен у нас и Н. Я. Марр, но его энергия sui generis (в своем роде. — *Н. К.*) и, я бы сказал, несколько эгоистична, так как направлена почти исключительно на яфетидоло-гию...».

⁹ Скорее всего, подразумевается труд Кондакова 1929 г., см. примеч. 6. Ср. близкий текст в статье С. А. Жебелева в сб.: Николай Павлович Кондаков, 1844—1924: К восьмидесятилетию со дня рождения. Прага, 1924, С. 37.

¹⁰ М. И. Ростовцев (1870—1952).

Наконец, среди последних писем, полученных Кондаковым, находится послание Бузескула от 8 января 1925 г. Там есть такие строчки: «От души порадовался я, узнав, как Вы продолжаете работать, обогащать нашу науку все новыми капитальными трудами, несмотря на неблагоприятные условия, а также тому, что Ваши труды по русской иконописи и об италийской Мадонне так хорошо, так достойно для русской науки приспособлены».¹¹

Поздравляя учителя с 80-летием, Айшалов от своего имени и имени Мацулевича писал 6 ноября 1924 г.: «О Ваших научных предприятиях мы снова здесь слышим и удивляемся Вашей предприимчивости и бодрости. Нам становится легче, когда мы вспоминаем, что там, на Западе, Вы держите высоко знамя русской науки и будете еще долго светить нам в нашей научной деятельности. Душевно поздравляем Вас и желаем здоровья, сил, крепости, чтобы мы могли еще долго смотреть на Вас и учиться у Вас, как жить и как работать». Далее следует приписка Мацулевича: «Присоединяю мое скромное поздравление и глубокий сердечный привет. Сознание, что Вы являетесь родоначальником нашего знания, что каждый наш шаг в науке восходит к Вам, никогда не покидает нас. И чувство глубокой признательности всегда сменяется с горечью, что мы не можем общаться с Вами и лишены Вашего совета и руководства».¹² В письме от 15 февраля 1925 г. (Кондаков уже не успел его получить) Айшалов вновь возвращается к близкой теме: «Мы здесь теперь часто слышим о Ваших успехах и работах и пытаем надежду, что все, что Вы напишете, будет и у нас. Так как теперь мы получили некоторую надежду на более спокойную жизнь и на возобновление научной жизни, то Ваши книги оживят наши заседания и практические работы. Особенно мы все интересуемся Вашими работами об иконописи, звершном орнаменте и других предметах».¹³ 27 марта 1925 г. в письме к С. Н. Кондакову Айшалов писал: «У нас потеря Н. П. чувствуется очень остро. Его смерть как бы надломилла общее состояние некоторого равновесия, и теперь все мы сироты». И далее: «Память о Никодиме Павловиче у нас много значит». Приведем также фрагмент из официального соболезнования Академии наук, подписанного С. Ф. Ольденбургем, непременимым секретарем. «Российская Академия наук продолжала с прежним вниманием следить за научными достижениями Никодима Павловича, гордясь тем общим призыванием его таланта перед наукой, которое недавно пришло

¹¹ Речь идет о «Русской иконе». Рукопись была приобретена Чешским правительством — документ на бланке Министерства иностранных дел от 3 июня 1924 г. (ИАИИИ). См.: [Падучиха биография Н. П. Кондакова] // Никодим Пашлович Кондаков, 1844—1924. С. 73. «Иконография Богоматери» (т. III) была куплена Ватиканом в 1924 г. — письмо нунция в Праге Ф. Мармиджи от 14 декабря 1924 г. (ИАИИИ). Рукопись осталась неопубликованной. См. также: Кызласова И. Л. Из мистериозного наследия Н. П. Кондакова // АЕ за 1988 год. М., 1989. С. 220, примеч. 75.

¹² См.: Кызласова И. Л. Академик Н. П. Кондаков: Из европейских архивов // XVIII Международный конгресс византистов: Резюме сообщений. М., 1991. С. 628—629. Там же упоминаются и некоторые другие письма — источники настоящей публикации. Н. П. Кондакову исполнилось 80 лет 1 ноября 1924 г. (см.: Никодим Павлович Кондаков, 1844—1924). См. библи.: Литарев Н. Н. Никодим Павлович Кондаков (1844—1925) // Литарев В. Н. Византизмская энциклопедия. М., 1971. С. 19.

¹³ Речь идет о «Русской иконе» и «Очерках и заметках по истории средневекового искусства и культуры».

себе яркое выражение и здесь, и за границей по случаю исполнившегося 80-летия нашего ученого».¹⁴

Письма к Кондакову дают представление о потерях, понесенных русской наукой, — написанные в годы гражданской войны или включившие воспоминания о них, эти тексты напоминают эпизоды. Мы не будем перечислять имена умерших, расстрелянных, сидевших в тюрьмах или тяжело больных друзей и знакомых ученого, содержащиеся в этих посланиях. Многие ученые потеряли в те годы близких родственников, умерших от истощения, тифа и т. д. Для некоторых корреспондентов Кондакова письма к нему стали едва ли не последними — они скоро ушли из жизни (Шахматов, Георгиевский). И современник событий, и историкограф могут оценить эти факты только как катастрофу.

Приведем наиболее выразительные фрагменты писем, отражающие общее положение.

23 мая 1919 г. Соболевский писал из Москвы: «Дел в Отделении [русского языка и словесности Академии наук] мало. И понятно: бывшая академическая типография почти не работает. Почта слаба. Да к тому же Русь уже не одно, а несколько государств, находящихся друг по отношению к другу в состоянии войны. Вообще Академия наук в тяжелом состоянии». «Протоколы, которые я получил, общих собраний и отделений I и III показывают, что в Академии наук — нечего делать». «Но судя по письмам в Петрограде и странная дороговизна, и необходимость бегать целыми днями и отыскивать приказы <...>. Мой наиболее храбрый корреспондент, Ник[олай] Ник[анорович] Гл[убоковский], в последнем письме, вышедшем из Петрограда неделю назад, пишет „<...> прежде (недавно!) Петроград был похож на тяжело больного, а последнее время похож на умирающего“». Соболевский продолжил: «Москва живет лучше, чем Петроград, особенно в последнее время. Умерли <...>. Когда я был освобожден, я сейчас же возобновил свои связи с Археологическим институтом и Ал. И. Успенским, был приглашен читать лекции по-прежнему и объявил курс по истории русской культуры <...>. Слушателей в натуре, можно сказать, совсем нет <...> Понемножку работаю, но книг мало и доставить [их] не легко...».

23 июня того же года из Петрограда о делах Академии наук сообщает Шахматов. Он отмечал, что из членов отделения ему «провели», кроме него, лишь трое. И «теперь границы закрыты, и по крайней мере из Великороссии получить заграничный паспорт невозможно». Письмо заканчивалось словами: «Утешительное состояние нашего духа невыносимо». Вскоре, в 1920 г., Шахматов скончался.

В 1919 г. из Оксфорда Кондакову дважды писал Ростовцев. 2 марта он давал общую оценку тому, что перед его отъездом с родины в июне 1918 г. «делать в России было решительно нечего, бороться нечем, а помирать без нужды и пользы на радость большевикам я считал и считаю делом излишним. Когда сам захочу или природа велит, помру, но не тогда, когда этого пожелают больше-

¹⁴ Текст напечатан на Ближе Академии, имеет регистрационный номер.

ники. Живу здесь по-нищенски, но во всяком случае культурной жизнью. Утешает только отсутствие известий от всех близких, смертная за них тревога и сознание невозможности помочь». Далее о погибших друзьях. В послании от 22 декабря находим сходные мысли: «Но ехать я в Россию сейчас не хочу. Жизнь тяжело и здесь, но по крайней мере наукой можно заниматься в очень хороших условиях, а это теперь единственное мое утешение».

В конце 1922 г. из Парижа отправлены два письма Марра. В первом, недатированном (ноябрь—декабрь 1922 г.), читаем: «<...> и вот уже второй раз пользуюсь редким для нашей братии, оставшейся в России, случаем, можно сказать привилегией, — научной командировкой к баскам».¹⁵ «В Петрограде, и в Академии наук, и в Академии истории материальной культуры (вместо прежней Археологической комиссии), большая тоска по Вас. Рядом все редет, одни уезжают навсегда под тем или другим предлогом, другие умерли или находятся на грани, каждой из нас на очереди <...>», особенно утешает «общая апатия». И далее: «Из лиц, которых судьба Вас может интересовать, при том оставшихся и живых, могу назвать С. А. Жебелева и Айналова». «В виду пайка [мы], ученые, от голода уже не мрем. — У меня, в частности (тайму Вас и своей особой), страшный голод по слушателям и последователям».

В послании от 31 декабря 1922 г. Марр отзывался не только разгромленными турецкими войсками развалин Ани («принесены по кусочкам, камня на камне не оставили»), но и гибель архива по многолетним работам в Ани: «<...> ученики мои пытались передать их в Кавказский историко-археологический институт; все снимки, все кальки, все рисунки, все дневники мои (конечно, снимки и негативы) были нагружены в вагоны, их должен был сопровождать мой ученик, уехавший, однако, отдельно; случилось это в октябре 1918 г., и с наступившими октябрьскими днями они все погибли, розыски довели нас до того результата, что, как утверждают, вагоны погибли где-то между Тихорецкой и Баку. Конечно, кое-что у меня осталось...».

Прежде чем обратиться к воспоминаниям Жебелева в своей работе в самые трагические годы, приведем цитату из письма Марра от ноября-декабря 1922 г.: «С. А. Жебелев проработал все тяжести сидения, одно время был даже ректором [Петроградского университета], бегавшему в Петрограде. У него бывали различные настроения, несколько месяцев перед моим вездом [за границу] я боялся за его вообще физическое состояние, да и вообще душевное состояние, но потом он оправился, и [я] оставил его в прекрасном здравии».¹⁶ Сам

¹⁵ Н. Я. Марр в молодости был весьма близким и Кондакову человеком. Марра даже включали в школу последнего при широком ее понимании (см.: *Губоковский Н. И. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии* (1928). Б. м., 1922. С. 109). Первая поездка Марра состоялась в 1920—1921 гг. Вторая — с 24 октября 1922 г. по лето 1923 г. (около 8 месяцев). В Париже ученый пробыл более 4 месяцев. См.: *Милашкова В. А. Николай Яковлевич Марр: Очерк его жизни и научной деятельности*. М.: Л., 1949. С. 305—306, 312. Таким образом, в Париже он пробыл, скорее всего, с ноября 1922 г. по середину марта 1923 г.

¹⁶ С. А. Жебелев (1876—1931) был ректором в августе-сентябре 1919 г. См.: *Жебелев С. А. [Предисловие к этнокрологии] Этнокрология. Комментарии* [1932]. СПб.: Изд-во Историкографического зодца С. А. Жебелева (Из издания научного наследия) / Изд. Н. В. Тушкина и Э. Д. Фролов // *ИДН*. 1993. № 2. С. 186. Работал в университете с 1891 по 1927 г. См.: Там же. С. 184—185.

же Жебелев в первом послании к Кондакову, написанном после пятилетнего перерыва, подробно рассказывал о себе. В силу того, что шлой исследовательской работой заниматься было невозможно, он работал над историографической книгой «Введение в археологию».¹⁷ «Я устранился так, что все время, остававшееся свободным от лекций и домашних работ и забот (а их немало — обходиться и обходиться и без прислуги и без дворника), я писал и писал, писал потому, что читать не мог систематически. И из области научной литературы почти читать не могу, равно как <...> шде не бывал и не бываю. Жшу в полном смысле анхоретом, и на Невском-то шой раз по два, по три месяца не бывал. Самое тяжелое было хоронить близких людей. А таковых я потерял немало: Смирнов, Тураев, Никитский, Машмберг.¹⁸ Строго говоря, теперь у меня в Петербурге и Москве шкого близкого не осталось. Сначала я и шниматься совсем не мог, но потом взял себя в руки и тогда почувствовалось некоторое облегчение, потому что думать совсем не оставалось времени». И далее: «Для меня эти годы многое проявили, и в древней истории, и в нашей, так что, пожалуй, я научился за последние годы начиная с 1914 г. больше, чем за всю жизнь, хотя книг читал за это время куда меньше, чем раньше, — ушел жизни и, откровенно говоря, выставил относиться к ней с полным равнодушием».

Списки 24 ноября (1923 г.) писал: «Как ни тяжело у нас дома, но мы все же живы — и работаем, кто больше.¹⁹ Может быть, кое-чем можем и похвастать. Где тени, там ведь и свет. Конечно, я мог бы много рассказать. Вам интересного, но ведь не напишешь и мною доли. В прежней Археологической комиссии остались Фармаковский, Чистяков²⁰ да я. Новая Академия истории материальной культуры — прекрасная и сильная мысль Марра, но мы сейчас уже не растем, а сокращаемся. Академию

¹⁷ Жебелев С. А. Введение в археологию. Ч. I. История археологического знания. Ч. II. Теория и практика археологического знания. Изд. 1923.

¹⁸ См. следующие места о близких ему коллегах: Жебелев С. А. Предисловие к автобиографии. С. 176. Я. П. Смирнов (1869—1918) — археолог, истории искусства (эпиграфик). Б. А. Тураев (1868—1920) — историк-палеограф (эпигрфик), А. В. Никитский (1859—1921) — филолог и историк (эпигрфик). В. К. Машмберг (1860—1921) — историк искусства (эпигрфик). См. также: Жебелев С. А. 1) Яков Иванович Смирнов // Сборник статей по археологии и эпиграфиковедению, издаваемый Семинарием им. Н. П. Кондакова. Т. 2. Прага, 1928, С. 1—2; 2) Из воспоминаний о Я. П. Смирнове. Оубл. в: Историографические этюды С. А. Жебелева: Три неопубликованных мемуара С. А. Жебелева / Изд. Н. В. Тушкина и Э. Д. Фроловой // ВУИ. 1993. № 3. С. 180—202. О Б. А. Тураеве см.: Жебелев С. А. 1) Борис Александрович Тураев (Некролог) // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7. С. 3—6; 2) Из воспоминаний о старом товарище. Оубл. в: Историографические этюды С. А. Жебелева: Три неопубликованных мемуара... С. 192—199.

¹⁹ Письмо написано не ранее 1922 г., вероятно, в 1923 г., т. е. в дни шде Кондакова за этот год есть запись от 11 декабря: «финский» письмо А. А. Спицыну» (ИАИИ). В связи с «близостью» ср. о смерти Б. А. Тураева в 1920 г. от «умер от истощения, это правда. Но какого? Морального. Мне, да и другим, он за последнее время неоднократно говорил, что дух его начинает угасать ранее, чем угасает тело. Для чего жать, сказал мне он раз, когда лезл душу продать». Он «его» был переносить, да и переносил ради своих идеалов какие угодно лишения, но «приспособлять» свои идеалы он не мог, да и не умел» (Жебелев С. А. Из воспоминаний о старом товарище. С. 199. Мы дагирuem статью 1920 г.). Ср.: Там же, С. 180.

²⁰ И. Ф. Чистяков — фотограф Имп. Археологической комиссии.

наук не трогают, и она стойко держится в своей позиции. О разрушении культурных учреждений в России Вы, я думаю, более знаете, чем мы на месте. Мы, естественно, ничего не знаем ни о России, ни о заграничье и живем слухами». И все же, продолжал ученый, «работая я с большим интересом и мечтаю составить какое-нибудь руководство. Собираем материал для „Словаря русской старины“, да и вообще дело не стоит, а движется. Очень раскрутился Археологический институт, но положение это не из прочных. Московский закрыт, как [и] Московское Археологическое общество и Московское Общество истории и древностей. Судьба Русского Археологического общества еще не ясна».

В письме Фармаковского от 23 апреля 1923 г. читаем: «Мы не только не голодаем, но живем хорошо. Общение с заграничьем, получение литературы началось снова, и главнейшие новыя издания из разных стран до нас доходят. Конечно, все еще многого не хватает, но мы надеемся, что разные трудности мы преодолеем». «Русское Археологическое общество живет, но не по-прежнему. Есть надежда, что, выжив [в] наиболее трудное время, оно снова оживет».

В письмах Георгиевского 1923 г. содержится рассказ об испытаниях, выпавших на его долю. В первом из них, от 15 февраля, он писал о потере близких, голоде в 1918—1921 гг., о том, что утратил почти всю библиотеку и имущество. В послании от 14 июля он уточнял: «Я, растеряв свою библиотеку и тысячи фотографий во время революции, и как-то охладев к собиранию книг и рисунков, у меня, что называется, опустились руки, и, работая теперь около предметов старины, я почему-то уж не гонюсь за фотографиями и рисунками, думая, что все равно печататься скоро еще нельзя, и потому у меня почти ничего нет по части новых книг и фотографий». В письме же от 8 апреля Георгиевский сообщал о расстреле ряда знакомых Коцдакова, о кампании закрытия церквей и монастырей, об огромном дозуде в центре Москвы с одним из членов «символа марксистской веры» — «религия — опшум для народа». Будучи человеком глубоко религиозным, он писал, несомненно Эгоповым языком, о своем участии в работе Комиссии по выявлению церковных ценностей и призывах, сделанных возможным подобно: «Пришлось только расстрелять несколько „несознательных“ архиепископов да несколько десятков попов, которых жалеть было нечего, т. к. это, очевидно, были контрреволюционеры, все церковные ценности были выданы. Конечно, у нас была создана еще раньше „чрезвычайка“ (Чрезвычайная комиссия с неограниченными полномочиями), которая живо расправлялась со всеми непокорными. Конечно, в горячах многое ценное для науки при этом молниеносном отборе церковных древностей и пропало, в особенности если материал был нарочито дорогой (золото, бриллианты, камни, жемчуг), — наши музейеды иногда должны были уступать художественные вещи, но все-таки многое при этом было спасено». Друг Коцдакова полагал (в стиле того же Эгопова языка?), что тому следует вернуться «в родную Академию, где как ни худо, а все-таки работать можно»: «<...> Вам будет у нас лучше других, лучше, чем, например, Н. У. (т. е. начинающим ученым), так как Вы просто М. У., т. е. мировой ученый, а не толстяк, не принадлежите ни к какой политической партии, то и Вас оставят в покое и дадут Вам

заниматься неизоблещной Вами наукой. Все политиканствовавшие ранее профессора, и Кизеветтер, и Виноградов, и tutti quanti (всё — *И. К.*) числом до 120 высланы прошлой осенью и зимой за границу.²¹ Мы устроили рабфаки (факультеты для рабочих) с красной профессурой, которую шлоном париковым способом быстро на особых курсах и скоро не будем нуждаться даже в услугах старых ученых, т. к. будем иметь своих рабфаковских профессоров, имеющих создать свою „пролетарскую“ науку. Ну, да обо всем этом Вы, конечно, знаете — вероятно, и у Вас в Праге есть наши дивные профессора, неужилие РСФСР». Георгиевский умер в середине декабря 1923 г.

Приведем фрагмент из письма Бутескула от 8 января 1925 г. из Харькова. «В течение трех лет мы с женою жили-то в какой-то клопке, то в конурах, с обваливающимся потолком с [1 ст. приб.], которою покрывались даже переветы тех немногих книг, какие я мог иметь у себя под рукою». «Жена болела, сестры ее, жившие с нами, умирали одна за другой. Я ходил на базар <...>, колол дров, носил воду, шилосил помои и проч., читал до 20 лекций в неделю в разных концах города. Я был близок к отчаянью... Спасли меня работы: я увлекся темой об открытиях в области истории древнего мира, совершенных в XIX и в начале XX в., и я писал, писал без надежды, что моя работа увидит свет. Академия наук избрала меня и своих действительные члены. Мне возвратили квартиру в прежнем доме нашем (дом, однако, теперь не наш). В сентябре 1923 г. мы вернулись в него <...>. Свою библиотеку я тоже перевез, и мои друзья теперь со мною». «Из прежних членов нашего факультета [бывшего Харьковского университета] почти никого не осталось. Из „старых профессоров“ только двое: Д. И. Багалея и я».

В известной мере с приведенным текстом созвучно письмо Айналова от 15 февраля 1925 г. из Ленинграда: «Все время мы бываем больны, то я, то жена». «<...> Приходится все делать самим, и я пишу дрожащим почерком потому, что колю дрова и делаю многое другое по хозяйству». При этом наступили уже не самые худшие времена — в следующем послании от 27 марта того же года (но уже С. Н. Кондакову) читаем: «Жизнь теперь здесь стала много лучше и легче, причем служба оптимизируется все выше и жалование все понемногу увеличивается».

Мы уже приводили несколько примеров продолжения научной работы в самых тяжелых условиях. И все же это были по большому счету едва ли не «потерянные» для ученых годы. Из выделенных нами источников становится очевидным, что сколько-нибудь полноценная и масштабная научная деятельность оказалась возможной в музеях и в Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи (с 1924 г. — Центральные государственные реставрационные мастерские), о которых писали Чириков, Анисимов и Георгиевский. Мы готовим полную публикацию этих нежных

²¹ А. А. Кизеветтер (1866—1933), историк, профессор МГУ до 1922 г. Сведениями о Виноградове мы не располагаем.

писем, поэтому ограничимся небольшой цитатой из послания Анисимова от 11 июля 1923 г. Понимая кардинальность сделанных открытий, он подводит итог: «<...> надо работать и работать, пока хватит сил, над спасением тех остатков русской культуры, без которых невозможно создание никакого здорового национального будущего». И далее: «Должен сказать, не как специалист и фанатик, а совершенно объективно — просто как рядовой культурный человек, что область открытия — единственная (подчеркнуто А. И. Анисимовым. — *Н. К.*), в которой Россия за эти годы подлинно сделала шаг вперед. Если повсюдушло и все еще идет разрушение и разрушение, здесь непрерывно совершается создание и обретение новых ценностей».

Что касается музейного дела, то мы располагаем сведениями о дружной работе в Отделе шитья и тканей Оружейной палаты, которым в 1923 г. заведовал Георгиевский. Это были, писал последняя, «остатки Патриаршей ризницы, значительно потерпевшей во время революции, и кое-что из бытовых одежд и тканей царского и императорского периода. Я сильно увлеклось изучением древнерусского шитья и счастлив, что имею себе помощницей хранителя Н. П. Шабельскую...» (письмо от 15 февраля 1923 г.).²² Более обширная информация имеется о музеях Петрограда. Так, из письма Марра от ноября-декабря 1922 г. узнаем следующее: «В Эрмитаже теперь во главе С. Н. Троицкий, и в нем собралась удивительно дружно работающая группа молодых и пожилых специалистов, страшно преданных Эрмитажу и его сокровищам, буквально не щадящих себя, лишь бы их отстоять и сохранить (в этом отношении не исключено, а положительно образами собачьей верности представляю и младших служащих, бывших сторожей). Эрмитаж растет, только что (т. е. накануне моего выезда 21 октября из Петрограда) расширился в сторону Зимнего дворца („Дворца искусства“), где он два обширных отделения (в сторону площади) занял художественными трофеями французскими, французами XVII и XVIII [вв.], оказавшимися у нас в большей полноте и лучшем подбере, чем на их родине. Вообще сокровища художественных в Эрмитаже накопились за это время такое количество, что, как директор меня уверял, к весне Эрмитаж своими экспонатами поглотит весь Зимний дворец, все его таны будут заполнены памятниками искусства, там в этом направлении шла непрерывная работа; выведенные за последнее время в Москву коллекции итальянцев благополучно (подчеркнуто Н. Я. Марром. — *Н. К.*)». Очень опасно было зимой: опасались неполадки средств на покрытые крыши Эрмитажа, протекало, директор в дождь между картинами ходил уже под зонтом, а картины прорастали на обратной стороне грибами, но на конференции музейных деятелей удалось заполучить нужную сумму». «Н. П. Сычен, вероятно, о себе давал Вам знать; он — директор Русского музея, оказался весьма искусным, как мне [одни?]

²² Материалы ЛАНИИ позволяют уточнить сведения о биографии В. Т. Георгиевского. Ср. последнюю публикацию после 1919 г. «он вернулся в Москву, но уже не был взят на работу в Комиссию и, перебывая случайно с работниками, беднел, умер в декабре 1923 года» (*Избрания Г. И.* «Быть здесь тяжелый восток...» // Из переписки А. И. Анисимова и В. Т. Георгиевского с И. Э. Грабарем (1918–1919) // Памятники Отечества (М.). 1993, № 3–4, С. 91).

говорили, администратором, несомненно, средства достает для своего учреждения, много работает и, судя по беседам с ним, он много интересного открыл по связям художественного творчества в России, в частности у поморцев и на Западе, во всяком случае их средству».²³

подавляющее большинство историков искусства, археологов и других гуманитариев, чья профессиональная деятельность таящую невозможна без изучения памятников на местах или в музейных и иных собраниях, в 1917—1925 гг. и позднее было почти лишено возможности передвижения даже в пределах России. Это составляло разительный контраст с предшествующим периодом и не могло не стать одной из причин «общей апатии», о которой упоминал Марр.

Приведем примеры из интересующей нас переписки — они немногочисленны, но красноречивы. 14 июня 1923 г. Георгиевский пишет: «Я все лето сижу в Москве — дорого теперь у нас путешествовать и мне не по карману (бюджет из Москвы до Петербурга стоит полтора миллиона)». В письме Жебелова от 12 августа того же года читаем: «В Ольвии раскопки так и не возобновляются. Теперь всем раскопочным делом ведают <...>. Городилов в Москве, в Академия материальной культуры пишет протеста, на который, однако, не обращается никакого внимания».²⁴

Даже в более благоприятное время, в 1925 г., Айшапов сообщал в письме от 15 февраля: «<...> теперь музеи наши пополнились огромным количеством нового материала <...>. Провинциальные музеи также обогатились тогда первоклассными и неизвестными ранее предметами из серебра и золота, рукописями, митериями, картинами и т. д., так что если бы была возможность, то теперь следовало бы устроить экспедицию для приведения в известность всего этого, что явилось. Но, к сожалению, невозможно достать денег, и я уже tredje лето сижу поемному по разным городам на свои малые деньги и смотрю новые собрания и музеи». Возможностью крайне редких поездок за рубеж пользовались, главным образом, лишь крупные администраторы, например Марр, о чем он упоминал в письмах. Вот строка из одного из них [ноября-декабря 1922 г.]: «Очень тяжело, а в Петрограде мы отрезаны от мира, что нельзя безнакалано и ученому претерпевать ad infinitum (до бесконечности). — Н. К.»

Изолированность от мировой науки выражалась теперь и в несистематичности поступления в крупнейшие научные учреждения России новой литературы. Конечно, ученые воспринимали это крайне остро. Наиболее точно свою принципиальную позицию выразил

²³ Н. П. Сычев был директором Русского музея с 1921 г. См.: *Визитное С. В. Николай Петрович Сычев (1883—1964 гг.) // Сычев Н. П. Избранные труды*. М., 1976. С. 12. О дальней связи Марра с Сычевым свидетельствует ранняя статья последнего (1912 г.). См.: Там же. С. 15—31. О работе, связанной с поморцами, там неизвестно. Письма Сычева или других связывали с ним документов в ЛАИИИ нет. Ср. из письма Жебелова к Коцкишону от 4 марта 1923 г.: «Сычеву, например, надо еще много утратить, а он уже продолжительное (видимо, директорством).

²⁴ Раскопки в Ольвии возобновились в 1924 г. (см.: *Жебелов С. А. Памяти Бориса Владимировича Фирмаковича // Сообщения ГАНМК*. Т. II, № 1. 1929. С. XIII).

Жебелев уже позднее, в 1932 г.: «<...> в моих работах не встретится выражение „русская наука“, потому что наука — международное понятие».²⁵

Выше мы приводили фрагмент из «оптимистичного» письма Фармаковского 1923 г. Но в том же году в послании Жебелева от 11 января находим объяснение, почему он написал «Введение в археологию»: «Знания свои пришлось направить в указанном виде, потому что собственно исследовательской работой заниматься не было возможности. С 1914 г. не знаю почти совершенно ни новых источников, ни новой литературы. Библиотека моя не прибавилась, а убавилась, так как часть книг — в том числе всего коллекцию журналов — пришлось продать. В каталожных библиотеках только за последнее время стало кое-что появляться, но и то случайного характера».²⁶ К этой теме Жебелев возвращался еще не раз. Так, 13 июня 1923 г. он писал: «Страдаю очень от почти полного отсутствия новой литературы, в особенности журналов с новыми материалами — в виде надписей и памятников; никакой исследовательской работы при таких условиях предпринять невозможно, а то, что было давно намечено и подготовлено, лежит без движения. Но еще в гораздо большей степени страдаю от отсутствия научного общения». В письме от 12 августа того же года он продолжал: «Мы теперь, т. е. библиотека наша, стали кое-что получать, но исключительно немецкое, а мне бы до поры нужно было новое издание Платона французом Круаке».²⁷ Там же ученый оценивал свою жизнь как «странно анахоретскую»: «Получилась в полном смысле слова „блестящая изоляция“ — без людей, без газет, без ученого общества, без библиотек, кроме своей собственной».

В эти же годы было затруднено изготовление самых необходимых пособий для научной работы, например фотографий. Об этом писали Анисимов и Георгиевский в 1923 г. Приведем фрагмент из письма последнего от 14 июля: «Конечно, в такие времена все это можно было сделать быстро, дешево и хорошо, но теперь, когда у нас ничего нет <...>, получение фотографий — дело невероятной трудности».

Крайне отрицательное значение в истории науки имело резкое снижение возможности издания научных трудов. Это привело гуманитарные дисциплины к не поддающимся учету потерям.

Начнем с едва ли не самого яркого примера такого рода, который находим в письме Анисимова от 21 августа 1923 г.: «<...> в России нет не только серьезных научных издательств по этой части, но даже простых журналов, чтобы я мог видаться в скором вре-

²⁵ Жебелев С. А. Автобиограф., С. 183. См.: Там же. С. 197, примеч. 27.

²⁶ Автор неоднократно возвращался в письмах к Н. П. и С. П. Кондыковым к вопросам, связанным с этим изданием. Конечно, Жебелев интересовался научной оценкой книги. В открытке к С. П. Кондыкову от 24 августа 1924 г. благодарит того за «новый отзыв» о книге. Возможно, речь идет о печатной рецензии, которую С. П. Кондыков опубликовал в 1923 г. в нескольких журналах на русском, английском и чешском языках (см. вырезки без точных данных — ДАНИИ), вероятно, и научных изданиях. Рукопись рецензии также хранится в ДАНИИ.

²⁷ См.: Жебелев С. А. Автобиограф., С. 192.

²⁸ С. А. Жебелев работал тогда над новым переводом Платона. См. Жебелев С. А. Автобиограф., С. 182. Толстой И. В. Список печатных трудов Сергея Александровича Жебелева. Л., 1926. С. 10.

мне опубликовать хоть десятую долю того материала, который у меня накопился по одной Владимирской иконе. Я даже не спешу систематически обрабатывать его в текст, а просто держу в голове: так мало у меня надежды когда-либо увидеть его опубликованным. Ведь одной этой теме хватило бы на целую монографию с превосходным иконографическим материалом!»²⁹ Сходные мысли излагал в том же году Георгиевский: «Беда лишь в том, что печататься у нас негде — Госиздат (Государственное издательство) не печатает церковных материалов, цензура не пропускает моих трудов...» (письмо от 15 февраля).

Приведем несколько фрагментов из писем Жебелева. 9 ноября 1924 г. он рассказывал, что трудился «без надежды где-либо свою работу напечатать», единственное издание, куда можно предложить статью, — «Известия АН», «но там, видимо, пролежит год». В следующем послании, написанном через два дня, ученый описывал подготовку текстов Платона: «Было сначала предложено, что мы с Радловым³⁰ напишем и книгу о Платоне, но это предложение если бы и осуществилось, едва ли бы вышло из портфелей авторов и свет или же книгу пришлось бы снабдить таким предисловием, от которого Платон пришел бы и ужас и не дал бы нам спать. Так что лучше уж не тревожить тепь почтенного мужа, и в чем к тому же не виноватого». 17 декабря ученый отмечал: «Византийский Временник» не издается совсем, что приводит в отчаяние Ф. И. Успенского». 13 января 1925 г. Жебелев продолжал: «У нас переменил какой-либо нет. Очень стеснены с печатанием. Средств отпускают мало, печатание же дорогое. Без ученого журнала просто беда. Зная, что нельзя напечатать, как-то и работа тормозится». 10 февраля того же года Жебелев вновь не мог не вернуться к той же теме: «Все это время я сидел над разбором рождества и воскресения и, мне кажется, нашел много любопытного. Между прочим, думается мне, я могу предложить подтверждение Вальке прочим, думается воскресения на рельефах Сабинны и особенно на [1 сл. гроб.] табличках, которое Вы высказывали много лет тому назад». «Напечатать свою работу и негде, и несвоевременно, и неуместно у нас, в конце концов, не для кого».³¹

Новые источники позволяют составить определенное представление об общей оценке деятельности основных научных учреждений

²⁹ А. И. Диников лишь спустя несколько лет опубликовал часть этого материала в двух работах (только одна вышла в России): История Владимирской иконы в свете реставрации // Труды Секции искусствоведения Института археологии и искусствознания РАНИОН, Т. II, М., 1928, С. 92—107; Владимирская икона Божьей Матери // Соучастники: Наблюдения иконописца. Прага, Seminatum Kondakovianum, 1928, С. 9—42; 2-е изд.: О древнерусском искусстве: Сборник статей. М., 1983, С. 165—190, 191—274. См. там же примеч. 1, Н. Видоряева на с. 426, 429—430.

³⁰ С. Л. Радлов (1854—1928), филолог.

³¹ Высказан в виду: Kondakoff N. Les sculptures de la porte de Sainte-Sabine a Rome // Revue archéologique, Vol. 33—34, 1877, P. 361—372. Какое таблички упоминают — не ясно.

³² Жебелев С. А. Иконографические схемы Воскресения Христова и источники их копирования // Сборник статей по археологии и византистике. Прага, 1926, С. 1—18. На ту же тему он писал также в письме Н. И. Кондакову от 13 января 1925 г.

и положения в ряде гуманитарных дисциплин в интересующие нас годы. К сожалению, здесь можно опираться, главным образом, на письма одного ученого — Жебелева.³³

Так, в письме от 11 января 1923 г. он сообщает, что пошлет в Прагу спес «Введение в археологию» по выходе в свет, и «вп. нее Вы увидите, что нового появилось у нас за эти годы в области археологии. Правда, этого нового очень немного, а важного и ничего нет». «Об университете как таковом писать нечего».³⁴ В письме от 6 апреля того же года читаем: «Но у нас с людьми теперь бывает такое неожиданности в смысле метаморфоз, что я последним давно уже перестал удивляться. Собственно говоря, и люди-то в подавляющем большинстве показали себя в таком свете, что не только удивляться их поступкам, но и считать-ся-то с ними, т. е. с людьми, не стоит. Не подумайте, что я стал мизантропом; нет, просто произошло как-то в голове». Затем рассказ переходит в иную плоскость: «В Академии материальной культуры, которой я временно, за отсутствием председателя [Марра], управляю, можно было бы наладить работу как следует, если бы в ней не оказывалось много праздного, лишнего и отчасти вредного народа и если бы всеми не обдуяла какая-то классическая дель. Из одной крайности махну в другую: в Археологической комиссии было людей слишком мало, в Академии питат чуть ли не сотня человек. И все эти его считают себя „учеными“. Какая-то гекатомба [принесение в жертву] учености и ученых. И так везде и всюду». И далее: «<...> многие обещали не утом, а дунами, иш, вернее сказать, душенками». «Только теперь и простого дела нельзя сделать сразу и просто, потому нужен подход. Теперь „ученые“ наши все говорят о каком-то „подходе“, все „подходят“ и никак подойти не могут».³⁵ Несколько ранее, 4 марта 1923 г., Жебелев писал: «Не знаю, что будет из теперешнего молодого и перекашленного за молодость ученого поколения. Что-то не верится, что придут заместители Якова Ивановича [Смирнова], Мальмберга, Тураева, Никитского». 12 августа того же года ученый делал вывод: «Вся беда, по-моему, в том, что у нас

³³ С. А. Жебелев (1867—1941) работал в Петербургском университете в 1891—1927 гг., с 1899 — профессор; в РАО с 1894 по 1922 г., в ГАИМК с 1919 по 1937 г., академик с 1927 г. См.: Биография Сергея Александровича Жебелева и список его печатных трудов // ВДН. 1940. № 1. С. 176—187; Жебелев С. А. Автоэпикрион. С. 184; с. 195, примеч. 8; с. 198, примеч. 36, 38.

³⁴ В письме к Н. П. Кондакову от 4 марта 1923 г. Жебелев писал: «я так называемом университете».

³⁵ Ср. письмо Жебелева Н. П. Кондакову от 10 февраля 1925 г.: «У нас появилось новое светило. Ф. И. Шмид <...>. Болтуш несерьезный и, должно быть, бросит совсем заниматься наукой. Все игнорирует новые методы, иш, как у нас теперь говорят, „подходы“». Намного культивированности с юности инстинкта перед научным фактом. Жебелев, по-видимому, отстранился как мог от навязывания «сверху» новых методов. Это привело его к мысли, выраженной (не очень ясно) в 1932 г. так: «<...> характер одной метода, непосредственной которой эта цель достигается, не играла <...> большой роли, иш, бы эта метода была строго научная. Не методу, а самое значение, получение его Жебелев ставил выше всего» (Жебелев С. А. Автоэпикрион. С. 186). См. также его мнение о том, что начиная с 1917—1922 гг. происходит упадок властическиа филологии и археологии, равно как и древней истории ученые «своими» со старого пути, «но пред им нашли пути новые» (Там же. С. 183). См. также: Жебелев С. А. Итоги изучения античности в СССР за 20 лет // Известия АН СССР. Отделение общественных наук. М., 1937. № 5. С. 1115—1124).

очень мало лиц, кто по-настоящему любит науку и жаждет служить ей. Науки у нас всегда была каким-то привеском к „культуре“, и этим привеском пользовался каждый на свой лад. Не имела наука самодовлеющего значения, а значит, мало было и самодовлеющих ученых». Эта ситуация была прямо связана с современным положением. В письме от 23 декабря того же года эта тема была продолжена: «Но я всю жизнь чувствовал отращение к акробатам всякого рода, и тем более к акробатам в науке». «А сколько теперь же-здрудитон!» То, что Жебелев не был одинок в своих оценках, подтверждает письмо Айнашова от 15 февраля 1925 г.: «В Академии материальной культуры теперь понемногу оживает научная жизнь, но все же мало делается такого, о чем стоило бы писать».

Весьма существенным было наблюдение Жебелева над изменениями как положения гуманитарного знания внутри науки в целом, так и места исторической науки в структуре гуманитарных наук, а кроме того, и ее собственной структуры. Эта большая тема затрагивалась в трех письмах.

23 декабря 1923 г. ученый писал, возвращаясь к вопросу издания трудов Кондакова в России, что это «вообще не по времени и, [в] частности, не к месту именно в Академии наук, курс которой принял совершенно определенное направление, и вряд ли в пользу разрабатываемых Вами и нами дисциплин. Академией руководят и перекладывают, в сущности, трое лиц: известный „фольклорист“ Ольденбург, математик Стеклов и минералог (специалист по драгоценным камням) Ферсман. За „фольклористом“ идет и ему иториг кампания восточников».³⁶ История, филология, искусство <...> пустые места, Большим влиянием пользуется Марр. Но он, в сущности, готов поддерживать только свою яфетологию, и на ней многие ирают не без успеха, а некоторые даже с большим успехом». В письме от 21 сентября 1924 г. находим прозорливые строки: «Боюсь, как и полагаю я, что вся эта яфетология, начавшаяся с Н. Я. Марра, с ним и кончится».³⁷ Наряду с ней такие науки, как древность классическая, византийская, чем мы были и свое время так сильны, совершенно гложет. Поощряется восточковедение в широком смысле, и на этом поощрении восточковедения многие делают себе карьеру, если не учено, то житейскую. Философия и история почти отсутствуют. Вот что можно сказать вообще о положении гуманитарного знания. Многое в нем, несомненно, обречено в будущем на нечеловечески изнурительное надлежание работников, число которых естественным путем будет сокращаться...». В послании от 17 декабря 1924 г. читаем: «Теперь у нас усиленно изучают искусство с точки зрения социологии, и в числе таких социологов искусства оказались даже Фармаковский».³⁸

Завершая систематизацию и анализ новых источников, приведем несколько небольших фрагментов из писем Жебелева. Они являют-

³⁶ С. Ф. Ольденбург «был собирателем сил русских фольклористов, их организатором и в значительной степени их вдохновителем» (Альдовский М. К. С. Ф. Ольденбург и русская фольклористика // Сергей Федорович Ольденбург: К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932: Сборник статей. Л., 1934. С. 25. Упоминаются А. Е. Ферсман и В. А. Стеклов).

³⁷ См.: Айнашов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991.

³⁸ Что имеется в виду, не ясно.

ся, на наш взгляд, своеобразным «ключом» к данной теме. 4 марта 1923 г. он писал: «А как вспомнишь, прежние Ваши субботы и воскресенья,³⁶ так и покажется, будто все это было на какой-то иной планете». После кончины Н. П. Кондакова ученый рассказывал С. Н. Кондакову о планах проведения в Академии наук «юбилейного заседания» и пытался, что ему не предоставят слова. «Но я об этом не горюю, ибо всего, что хотелось бы сказать, по обстоятельству места и времени все равно сказать нельзя было бы. А читать банальщину о Никодиме Павловиче я не могу и не хочу».³⁷

Введение в научный оборот сведений, содержащихся в переписке ряда известных русских ученых, оставшихся в России и покинувших ее, имеет глубокий смысл для переоценки истории нашей науки. Имя великого Кондакова занимает в ней особое место. В контексте настоящей темы важно, что он хотя и недолго — всего несколько лет, но в очень ответственный момент становления русской зарубежной науки воспринимался многими как ее глава. И. И. Лаппо, А. В. и Г. В. Фроловские, Г. В. Вернадский, А. А. Кизеветтер, П. Б. Струве, Н. О. Лосский, Н. Л. Окунов, И. И. Липини и др. в коллективном приветствии по поводу 80-летия Н. П. Кондакова в ноябре 1924 г. поставили свои подписи под словами: «Много лет тому назад В. В. Стасов прозвал Вас „архистратгом национальной русской археологии“». И ныне в Вашем лице мы видим как бы архистратга всей национальной русской науки, не пожелавшей склонить голову перед тем, кто искажал национальный лик и национальную душу России».³⁸

³⁶ Проведение дни в доме Кондакова. В разные годы это были и другие дни недели. Ср. «встававшие „журфиксы“» (см. статью С. А. Жебелова в сб.: Никодим Павлович Кондаков, 1844—1924. С. 33 и след.).

³⁷ Письмо от 8 апреля 1925 г. (ИАИИИ). Общее собрание АН СССР, посвященное памяти Н. П. Кондакова, состоялось 7 октября 1925 г. По данным Н. В. Тушиной, С. А. Жебелова и других на нем, по рукописи его речи в СПб. ФА РАН нет.

³⁸ Из посвящения В. В. Стасова к его работе «Миниатюры некоторых рукописей византийских, болгарских, русских, джидатайских и персидских» (СПб., 1902). Ср. в письме В. В. Стасова к Н. П. Кондакову от 8 сентября 1905 г.: «архистратг русской археологии» (Стасов В. В. Письма к деятелям русской культуры. Т. 1. М., 1962. С. 302—303). Это определение применительно к Н. П. Кондакову использовали не раз, см., напр.: *Славяно-И. П. Н. П. Кондаков и его труды по славянской и русской археологии и искусству: К 80-летию со дня рождения*. Речь, читана 17 декабря 1924 г. на торжественном заседании Российской Академии истории материальной культуры в честь Н. П. Кондакова по поводу 80-летия со дня его рождения (Архив ИИМК РАН, ф. 51, оп. 1, ед. хр. № 1, л. 24).

⁴² [Приветствие] Историко-филологического Отделения Русской учебной Коллегии в Праге (Бдт. ИАИИИ).